



Альберт ЛИХАНОВ

**БЛАГИЕ
НАМЕРЕНИЯ**

Альберт Лиханов
Благие намерения

1980

Лиханов А.

Благие намерения / А. Лиханов — 1980

Молоденькая выпускница пединститута Надежда Георгиевна случайно оказывается воспитательницей сирот-первоклассников. Но выбор ее прям и благороден. Тяготы чужого предательства она принимает на себя и служит детям. А. Лиханов говорил: «...новая повесть „Благие намерения“ – о молодой учительнице, о маленьких сиротах, которых ей довелось растить. Впрочем, это скорее повесть о важных категориях, из которых складывается наша нравственность, – о добре и зле, ответственности и безответственности, о мире детей и взрослых и о том, что нет, не благими намерениями вымощена дорога в ад, а лишь намерениями неисполненными». Об ошибках (опечатках) в книге можно сообщить по адресу <http://www.fictionbook.org/forum/viewtopic.php?t=3172>. Ошибки будут исправлены и обновленный вариант появится в библиотеках.

Содержание

1	5
2	6
3	10
4	14
5	17
6	19
7	23
8	28
Конец ознакомительного фрагмента.	29

Альберт Анатольевич Лиханов

Благие намерения

1

Снова навалилась бессонница.

Дверь на балкон распахнута, и в комнату вливается душный аромат черемухи. Может, из-за него я не могу уснуть? Надо бы встать, прикрыть дверь, но я не в силах шевельнуть рукой. Точно опьяняющий наркоз сковал меня. Голова ясная, утренняя, а тело налито невероятной тяжестью, не то что рукой, пальцем шевельнуть немыслимо.

Я живу на втором этаже и когда-то – совсем недавно! – мечтала, чтобы черенки черемухи, высаженные у дома, скорей поднялись и сравнялись с моим балконом. Тогда весной цветы будут перед окном, точно сад приподнялся на цыпочки прямо в мою келью. И вот это сбылось, а я не рада. Запах черемухи дурманит и не дает спать.

Впрочем, все это глупости, и черемуха тут ни при чем.

Ветер колышет прозрачную штору и вносит в комнату волнупряного аромата.

Я точно купаюсь в нем.

Я говорю себе: наслаждайся, ты хотела этого, и твое желание сбылось. Наслаждайся и спи, все условия для волшебных снов: ведь, вдыхая черемуху, можно увидеть во сне только сказки.

Но сказки не приходят.

Я облакачиваюсь и тарашусь в неверные июньские сумерки, в белую северную ночь, стараюсь разглядеть черемуховые ветви там, за окном. Смутные тени колышутся у балкона. Я знаю: ветви унижены белыми гроздьями.

Я вдыхаю полной грудью и чувствую, как приливает к вискам кровь. Завтра у меня необыкновенный день, точнее, вечер.

Выпускной вечер моего класса.

Первый мой выпуск. Об этом знают все.

Искупление моей вины. Об этом знают немногие.

День исполнения моей клятвы. Про это известно одной мне.

Остался один день. И эта ночь.

2

Я пришла в школу-интернат десять лет назад, оказалась тут почти случайно. Впрочем, в каждой случайности есть своя закономерность...

В начале августа у мамы случился инфаркт, я дала в гороно телеграмму, заверенную врачом, и осталась возле нее.

У меня было странное ощущение – как будто я не нужна ни маме, ни Ольге и Сергею, старшей сестре и старшему брату. Всю весну и лето, с тех пор как я получила назначение, они во главе с мамой без устали дулись на меня.

О матерях не принято говорить дурно, не скажу и я, хотя теперь, спустя десять лет, мне многое стало ясным. Кажется, я протрезвела за эти годы. Точно во мне бродил молодой хмель, но вот шибануло меня об острый угол раз-другой, и все стало очевиднее, реальней, что ли. И мама стала реальней. Ее взгляды.

А тогда я не могла ничего понять – я ухаживала за мамой, сидела в больнице возле нее дни и ночи, и рядом непременно сидела Ольга, или Сергей, или Сережина жена Татьяна, и они ухаживали за мамой с таким видом, будто меня здесь нет. Я старалась не обращать на это внимания, но не так-то это легко, когда ты только окончила институт, а взрослые и любимые люди, точно сговорившись, в один голос осуждают тебя, да еще осуждают высокомерно, с презрением, мол, молодые должны внимать благодарственно, а не высказывать собственных суждений, пользоваться чужим опытом, пока, скажите спасибо, его предлагают, и жизнь начинать по общепринятым правилам, а не так, как ты...

Это был молчаливый спор, который начала мама.

Мама вообще очень властный человек. Тогда мне казалось, что она совершенно не любит меня. Собственная прихоть была для нее всегда важнее моих намерений. Она подавляла. И не отдельные дни и часы, а всегда. Теперь я думаю совсем иначе. Мама любит меня. Может быть, даже сильнее, чем Ольгу и Сергея, ведь я младшая, для нее последняя. Просто любовь у нее властная, вот в чем дело. Властная, как и сама мама.

У нее всегда были странные отношения со всеми нами. Даже явно ошибаясь, мама говорила уверенно и требовательно, никогда не сознаваясь в ошибке.

– Оля, тебя, кажется, опять провожал этот парень из соседнего подъезда. Так запомни, он тебе не подходит, тебе больше подходит Эдик.

– Но почему? – спрашивала Оля. – Николай очень милый, ты же знаешь, мы из одной группы, – Оля тогда заканчивала иняз, – а Эдик мне надоел! И вообще он сухарь!

Эдик был одноклассником Оли, учился в политехе и был некрасив до предела – длинный, плоский, как бы вырезанный из бумаги, а главное – скучно-сухой, протокольно-стандартный, точно параграф из учебника математики. Словом, розовошекому баскетболисту-крепышу Николаю Эдик, беспорно, уступал, и Оля спрашивала маму, округляя глазки:

– Но почему?

– Он тебе не подходит! – резала мама, выделяя последние слова, выставя над ними знаки ударения величиной, пожалуй, со столб, и добилась-таки того, что потом, позже, Оля вышла все же за своего плоского Эдика и живет, по-моему, без намека на счастье...

Однако это другая история, я потом еще вспомню про нее, но тогда, в ту пору, возле мамы, которая уставилась в потолок больничной палаты тяжелым немигающим взглядом, я еще не все понимала.

Да, не все понимала, но все чувствовала.

Иначе почему же я поступила по-своему? Единственная из троих детей ослушалась мать?

Перед распределением мы дали слово – вся наша группа – не финтить, не подключать родителей, словом, не пользоваться отработанной тактикой и ехать на работу туда, куда пошлют.

Слово, конечно же, не было сдержано, конфузливо улыбаясь, две девчонки, редкие посредственности, вышли из деканата с направлениями в школы того города, где все мы учились, а я родилась и жила. Мы было бросились их поздравлять, не чуя подвоха, но девицы, не откладывая, признались, что только вчера – надо же, накануне! – вышли замуж за здешних жителей. Да еще одному парню пришел персональный вызов из специальной – с английским уклоном – школы, хотя в английском он был ни в зуб ногой, а всю жизнь учил немецкий.

Все остальные повели себя честно, так что даже никакой злости не осталось против тех троих, лишь легкое недоумение: зачем они так?

Меня больше занимало другое: как скрыть от мамы, от сестры и брата с его женой три исключения из честного договора? Я скрыла. Удалось. Только ничуть не помогло.

Мама замолчала, как всегда умолкала она, если кто-нибудь в чем-нибудь – хотя бы в пустяке! – не признавал ее властной силы. Я приходила с улицы не домой, а в какую-то сурдокамеру, так, кажется, это называется. Мама говорила с Олей, говорила с Сережей, говорила с Татьяной, Татьяна говорила с Олей, Оля с Сережей, и никто из них не говорил со мной.

Когда я пробовала заговорить с мамой, она произносила жестким голосом:

– Ты останешься здесь!

Я спрашивала, к примеру, включая телевизор:

– Посмотрим этот фильм?

А мама неизменно произносила одно и то же:

– Ты останешься здесь!

– Но у меня в руках распределение!

– Ты останешься здесь!

– Это же бесчестно! Мы договорились всей группой! Меня, наконец, ждут!

– Ты останешься здесь!

И это еще в лучшем случае. Мама разговаривалась. А то просто молчит. Молчание гораздо тяжелее. Оно давит на сердце, на душу, на голову. Где-то в области затылка. И кажется, лучше сделать, как она требует, только бы не эта тишина.

Я так всегда и делала. «В магазин?» – «Не гулять с мальчиком таким-то?» – «Хорошо, мамочка дорогая, как скажешь!» – «Соседи по лестничной площадке нагловатые люди?» – «Можно с ними не здороваться!» И хоть лично мне ничего плохого эти соседи не сказали, не сделали, я вела себя, как хотела того мама, в зависимости от ее настроения.

Не замечая сама, я глядела на мир мамиными глазами, оценивала людей с ее точки зрения, даже телевизионным фильмам выставляла отметки по ее шкале ценностей – правда, шкала была высокая, но все-таки не моя.

Так что до институтского распределения я никогда ни о чем не спорила с мамой и никогда, таким образом, не была наказуема в отличие от Оли и Сергея, которые время от времени карались тишиной, давившей на затылок. Впрочем, легко мне жилось только до встречи с Кириллом.

Боже мой, какие все красивые имена – Ольга, Сергей, Татьяна, Кирилл!

Кирилл восклицал когда-то: «Ты учитель словесности!» Наверное, оттого, что я учитель словесности, отношение к именам у меня литературное, тотчас ассоциируется с Ольгой и Татьяной Пушкина, Кириллом Извековым Фебина... Боже, но как далеки мои близкие и знакомые от тех героев! А друг на друга как похожи, оставаясь совсем непохожими...

Но это нынешние мои рассуждения, тогда я думала о людях, встреченных мною, только в сравнении с литературой, вот дуреха-то! Потом, позже, они не стали ни хуже, ни лучше, просто я их увидела иначе, а тогда...

Так вот Кирилл.

Он стеснялся, что был на полголовы ниже меня. Учился на физмате, готовил себя в чистую физику, а ничуть не в школу, без конца повторял о том, что личность должна освободить себя от предрассудков, но вот, надо же, стыдился того, что был чуточку ниже девушки, стыдился, таким образом, предрассудка и заставлял страдать меня.

На студенческих вечерах он ни разу не пригласил меня танцевать по этой причине, и я вынуждена была кружиться из деликатности с девчонками, чтобы, не дай бог, у Кирилла не оказалось возможности приревновать меня к какому-нибудь дылде. Словом, у нас намечался роман, и в один прекрасный миг я вдруг поняла катастрофическое: я разделяю взгляды Кирилла точно так же, как взгляды мамы. Охотно и легко!

Одно время Кирилл развивал мне затхлую – за давностью! – теорию конфликта лириков и физиков, что-де физика, ее достижения делают ненужной литературу, словесность, и я, дура, умом понимавшая, что мой Кирюша несет окоlesiцу, кивала ему головой и поддакивала.

Да, пожалуй, именно это меня остановило. Этот конкретный повод. Разговор о физиках и лириках. Уж слишком явно проблема была беспроблемной, дело – очевидным, спор – не стоившим выеденного яйца.

Я покивала Кириллу, мы поцеловались у подъезда, я пришла домой, села у телевизора рядом с мамой, она что-то проговорила насчет фильма, который показывали, я ей охотно поддакнула и будто врезалась лбом в стенку.

Господи! Что со мной происходит!

Да я же двоюсь, как картинка на телевизионном экране, когда антенна не настроена. Кирюша мне что-то внушает, я с ним согласна. Мама высказывается, я и ей не возражаю.

Я будто проснулась. Помню, даже схватилась ладонями за виски. Ужас какой! Оглядела Сережу с Танечкой – сидят, обнялись, Ольга кутается в платок, мама – грузная фигура в стеганом шелковом халате – смежила брови, точно одна черная черта над глазами проведена, вжалась в старое мягкое кресло – свой трон.

Черт побери, какой-то невзаправдашний, а говоря философским языком, ирреальный мир. Но я-то кто в этом мире? Пешка? Эхо чужих голосов и мнений? Мама скажет – я с мамой, Кирюша – я с Кирюшей. А если еще кто-нибудь что-нибудь скажет, кому я поверю? Незаметненько вот так, только чтоб маму не расстраивать, во что я-то превратилась? В амэбу? Амэбу, известно, можно на несколько частей разрезать, каждая станет отдельно жить, а я как? И вдруг мамино мнение когда-нибудь с Кирюшиным не совпадет? Что же я? Как я буду?

Я словно сдираю какой-то налет. Не день, не два, не месяц. Смывала с себя что-то.

Мое открытие произошло умозрительно, без конфликтов. Слава богу, я не оказалась между двумя противоположными мнениями, до этого не дошло. И для мамы моя перемена произошла незаметно. Я по-прежнему поддакивала ей, но мое согласие теперь ничего не значило. Оно еще ничего не значило, но и уже не значило ничего. Я просто произносила слова, которые, казалось, исходили не от меня. Я соглашалась, не зная еще, согласна я с этой точкой зрения или нет.

Собственное мнение родилось во мне совершенно неожиданно и именно тогда, перед распределением. Кто-то из мальчишек, приехавших в институт из деревни, сказал язвительно: конечно, мы, деревенские, поедем назад, в район, в городе нас никто не ждет, а вот городские постараются зацепиться за асфальт. Про девчонок же говорить нечего, техника старая, как мир: повыскакивают замуж за горожан независимо от чувств, и ваши не пляшут. Не зря в городе полным-полно учителей, работающих не по специальности.

Бес меня под ребро ткнул:

– А давайте слово дадим! Слово чести! Как в девятнадцатом веке!

Аудитория загудела, а староста Миронов, бывавший каким-то случаем в нашем доме, прогудел мне на ухо:

– Надюха, тебя же первую мать от себя не отпустит!

А я воскликнула, леденея от страха:

– Да куда она денется!

И вот месяц молчания, прерываемый единственной хриплой фразой «Ты останешься здесь!», потом «скорая помощь», суэта врачей, послеинфарктная палата, мамин взгляд, упершийся в потолок, и ощущение, что меня тут нет, в этой палате, хотя я уйду отсюда только поспать.

А потом мамино прощение, точнее, полупрощение, полусогласие, полувопрос.

Уже в середине сентября, когда мы перевезли ее домой и Оля взяла отпуск, чтобы ухаживать за ней, хотя была и я рядом, мама сказала, оставшись со мной:

– И все-таки?

Со мной так давно не разговаривали, что эта ее фраза бабахнула, точно пушка над ухом. Я даже вздрогнула. Но за месяц, пока мама была в больнице, и за тот месяц, который предшествовал инфаркту, во мне произошло много важных перемен. Я ведь еще не была предметом неодушевленным, слава богу.

Собрав все свои силы, я не отвела глаза в сторону, как должна была бы сделать, если бы оказалась хорошей дочерью, а посмотрела на маму и подтвердила:

– И все-таки...

Она вздохнула. Что-то мелькнуло в ее взгляде, какая-то жалость, что ли. Мама величественно протянула руку, я поняла ее жест, приблизилась и наклонила голову. Она поцеловала меня в макушку – до щеки или губ очередь еще не дошла, не дошло еще до таких высот ее прощения. И я, подоткнув мамино одеяло, вышла в прихожую, подкрасила подтекшие ресницы и отправилась на почту послать телеграмму в определенное мне горно, что ближайшими днями выезжаю на место назначения.

Северный город, куда меня распределили – мне выпал город, что уж тут поделаешь, я вела себя честно, – был не так уж мал, за двести тысяч жителей, и учителей литературы там хватало. Так что, когда я заявила туда в двадцатых числах сентября, мое место оказалось отданным другому человеку, и мне предложили то, что оставалось, – вакансию воспитателя в школе-интернате.

На частной квартире, а верней, в частном углу за ситцевой занавесочкой, куда определил меня интернат, я распаковала чемодан, поставила на стол портрет мамы в старинной затейливой рамочке и разревелась: воспитатель интерната – это вовсе не учитель, и не к этому я себя готовила.

Выходит, мама права, и дома я нужнее, чем тут. Нужнее хотя бы ей.

Но отступить было некуда.

3

Если бы мама жала на меня хоть чуточку полегче, я бы сбежала домой. Не раздумывая. Северный городок при ближайшем рассмотрении оказался серым – то ли от постоянной пасмурной погоды и низких облаков, ползущих прямо над крышами, то ли от силикатного кирпича, из которого были сложены дома на главных улицах. К тому же угол с цветастыми ситцевыми стенами, где я жила, казался ненадежным, неустойчивым, зыбким, верно, все из-за этих матерчатых стен, колеблющихся от сквозняка. Дом, куда меня определили, был деревянный, перенаселенный до предела, настоящий клоповник – каждый день я видела все новые лица, возникающие в крохотных дверях, а в конце длиннющего коридора располагался общий туалет, и тетка Лепестинья, сдававшая мне угол, – вот уж имя так имя! – только цокала языком, созерцая мои страдания.

В те дни мне снились простенькие и примитивные сны. Наш старинный, с лепниной на потолках дом, моя теплая комната с книжными полками, нарядной китайской вазой, полной цветов, мягким светом настольной лампы с зеленым абажуром и – о господи! – туалет, облицованный голубым кафелем с виньетками.

Наверное, со стороны я походила тогда на жалкого и мокрого щенка, который оступися в лужу, и, хотя молчит, вид у него хнычущий, бестолковый, растерянный.

Я сужу об этом не по себе – вряд ли в двадцать два года, глянув в зеркало, ты увидишь ничтожество хотя бы уже потому, что перед зеркалом, пожалуй, и мокрый щенок подтягивается и глядит бодрым глазом, – а по другим, по их взглядам и по их словам.

Первым и особенным среди прочих был директор школы – мне везло на имена – Аполлон Аполлинарьевич. Очень быстро, буквально через несколько дней, я узнала, что у директора есть ласкательное прозвище Аполлоша, которым пользовались не только ученики, но между собой и учителя, и я рассмеялась тогда: в этом слове не было обидного, зато было точное совпадение с внешностью Аполлона Аполлинарьевича. Он состоял из круглой и лысой головы, точно вырезанной по циркулю, из круглых же очков, круглого туловища, да и ладошки у него были уютно кругленькие, такие пуховенькие подушечки, и вообще весь он был уютненький, этот Аполлоша.

Когда я вошла к нему и у порога представилась, он округлился еще больше в благостной, добродушной улыбке, покатился навстречу, взял мою руку обеими подушечками и заявил:

– Надежда Георгиевна? Гм-гм... Это какого же Георгия? Победоносца? – Я не знала, что сказать от растерянности, а он и не ждал ответа. – Великолепно! – восклицал директор, не выпуская моей руки. – Надежда Победоносная? Послушайте сами! Любовь Победоносная? Вполне вероятно! Вера Победоносная? Возможно! Но Надежда! И Победоносная! Как необыкновенно! Вы словесник! Вы должны слышать, о чем я говорю. У вас есть слух?

Выпалив эту тираду, оглушив ею меня, он отцепился от моей руки, схватил листочек бумаги – направление на работу, подскочил к своему столу, спрятал в ящик, щелкнул ключом и потер свои ладошки-оладышки, будто запер в стол какую-то особую ценность или даже меня. Потом на мгновение задумался и произнес совсем иным, каким-то усталым голосом:

– Нам надо бы серьезно поговорить, группа у вас особая, но выбора нет, должность только одна и именно в этом классе, но, может быть, не следует предвосхищать, а? Вы сами присмотритесь, и уж потом? Наговоримся еще...

Слово «наговоримся» предполагает взаимную речь, диалог, но Аполлоша предпочитал монологи.

Он постоянно приступал ко мне, точно форсировал реку или брал крепость, этот Аполлон Аполлинарьевич, и первое время я терялась и краснела, не понимая его замысла и не дога-

дываясь, что таким манером директор отвлекал меня от моих личных печалей и старался скорее, как это говорится в науке, адаптировать меня в чужой школе и чужом городе.

Говоря честно, поначалу я даже стыдилась Аполлоши и норовила куда-нибудь ускользнуть, но он настигал меня своими афронтами совершенно неожиданно и, что особенно смущало, публично. Он мог схватить меня за руку в коридоре и при учениках, которые тотчас окружали нас плотным кольцом, начинал громогласно излагать новую мысль, ни на кого, кажется, не обращая внимания.

– Я родился, дорогая Надежда Георгиевна, в доме учителей. И не просто учителей. Естественников! – Очки при этом у него вскидывались на носу, а пухленький указательный палец вздымался восклицательным знаком. – Отец и мать были естественниками, бабка и дед по отцовской линии – естественниками, бабка и дед по материнской линии – естественниками. Все вместе мы могли бы составить целое педагогическое общество. Но вместе нас не было. Нас рассеяло во времени. Представляете, Надежда Георгиевна, если бы люди разных эпох могли хотя бы ненадолго собираться в одном времени и обмениваться мнениями! Сколько открытий! Рылеев и Пушкин встречаются после декабрьского восстания! Или Пастер, Павлов и ныне здравствующий Дубинин! И рассуждают о наследственности, а? Вот ты, Юра, – неожиданно оборачивался он к какому-то третьеклашке, – знаешь ли, почему ты черноволосый, хотя твои родители блондины? – Юра от неожиданности распахивал рот и немел, а Аполлон Аполлинарьевич крутил пуговицу на его пиджачке и объяснял: – Да потому, что твой дедушка или прадедушка, бабушка или прабабушка черноволосые.

– Она же никогда в школу не приходила! – поражался Юра. – Она в другом городе живет.

– Вот! – энергично кивал директор. – Она! В другом городе живет, а я знаю, что черноволосая. Закон! Понимаешь! Закон наследственности.

Юра краснел от удовольствия, ничего, конечно, не понимая, но чувствуя какое-то тайное одобрение, мудроно выраженное директором, его начинали тискать и подталкивать приятели, круг сам собой рассыпался, и мы продолжали разговор уже посреди хаотического, молекулообразного коридорного движения, но без свидетелей.

Так что это только казалось, будто он ни на кого не обращал внимания.

Аполлон Аполлинарьевич вообще умел волшебным образом управлять окружением. Он мог отвлечь человека от его мыслей и направить их в другое русло. Он мог отослать человека по какому-то делу, даже не обратившись к нему с конкретной просьбой, а высказав ее как будто невзначай и куда-то в воздух. Он мог говорить о какой-нибудь ерунде, а когда ты расставалась с ним, оказывалось, он сказал нечто чрезвычайно важное и интересное. Он никогда особенно не сосредоточивался на собственно школьных делах, рассуждая часто о понятиях общих, если не отвлеченных, но всегда как-то так выходило, что речь-то была об интернате, вот об этом именно интернате и о его конкретных заботах.

На первом же педсовете представляя меня учителям и воспитателям, Аполлон Аполлинарьевич поразил меня невероятнейшими словами о том, что я, отличница, имевшая право на аспирантуру, выбрала их забытую богом школу, а опоздав по семейным обстоятельствам, пошла, не задумываясь, на подвиг во имя детей, согласившись стать рядовым воспитателем в интернате. А дальше он вообще вогнал меня в краску. Снова уцепившись за мое имя, Аполлон Аполлинарьевич публично восклицал, что я надежда школы в самом прямом смысле этого слова, что он и весь коллектив надеются на меня как на представителя нового человеческого поколения, которое, что ни говори, а ближе к ребятам, лучше их понимает хотя бы по памяти о своей недавней юности и недавних школьных годах.

Постепенно жар опал с меня, потому что директор, забыв обо мне, произнес монолог о человеческой надежде вообще, о том, что надежда – это витализм, жизненность духа и мысли, что без надежды немислима мечта, немислимо будущее, а значит, немислима жизнь, что надежда вкупе с верой и любовью не есть лишь христианская догма – это выстраданные чело-

вечеством чувства, принятые моралью нашего общества с той лишь разницей, что мы верим в человека, надеемся на человека и любим человека и что учитель,веряющий свою работу этими высокими мерками, как бы поднимается над обытовленностью повседневности, становится философом, становится мыслителем, становится созидателем человеческой личности, а значит, и общества. А если он таков, то нет для него дела, в которое он бы не верил и не внушал окружающим эту веру, нет человека, на которого он бы не надеялся, да если еще этот человек – ученик, и нет человека, которого он бы мог – даже мысленно! – не любить.

Я сидела ошарашенная, очарованная – все вместе! Конечно, я только начинала. Это мой первый настоящий педсовет, когда я в школе на работе, а не на практике. Но институтская практика была основательной, я немало повидала педсоветов, там разбирали уроки, требовали планы, скучно толковали о методике, жаловались на нерадивых учеников, так что казалось, школы набиты бестолочами, лентяями, а то и просто негодьями, а такого – такого я не слышала ни разу.

Когда Аполлон Аполлинарьевич произнес фразу о любви, о том, что нет человека, которого учитель мог бы – даже мысленно! – не любить, в учительской произошло едва уловимое шевеление. Я, увлеченная речью директора, не услышала шороха и поняла, что что-то произошло, по его лицу.

Аполлоша умолк, точно запнулся, и произнес после паузы:

– Я слушаю.

– Ну, это уж толстовство, Аполлон Аполлинарьевич! – произнесла женщина, сидевшая от директора справа, со смыслом, его правая рука, завуч Елена Евгеньевна, плотная, мускулистая, с мужской широкоплечей фигурой.

Было слышно, как в окно бьется басистая муха. Наверное, у них какой-то затяжной конфликт чисто педагогического свойства, еще подумала я, когда за вежливыми фразами таятся острые шипы. Но директор не дал мне времени на раздумье.

– Надежда Георгиевна, – спросил он задумчиво, будто я была одна в учительской, и головы педагогов снова враз повернулись ко мне, – вы, конечно, помните записки о кадетском корпусе Лескова?

– Да! – соврала я не столько из желания соврать, сколько от неожиданности.

– Помните, там эконоом был Бобров. Что-то вроде завхоза по-нынешнему. Так вот этот эконоом никогда свою зарплату на себя не тратил. Детей в кадеты отдавали из бедных семей, поэтому он каждому выпускнику, каждому прапорщику дарил три смены белья и шесть серебряных ложек... восемьдесят четвертой пробы. Чтобы, значит, когда товарищи зайдут, было чем щи хлебать и к чаю...

Аполлон Аполлинарьевич говорил без прежнего напора, как бы рассуждая сам с собой.

– И еще там был директор Перский, генерал-майор, между прочим, так он жил в корпусе безотлучно, всю, представляете, свою жизнь отдав выпускникам, а детей туда посылали с четырех лет, и, когда ему говорили о женитьбе, этот генерал отвечал следующее: «Мне провидение вверило так много чужих детей, что некогда думать о собственных».

– Мы тоже о собственных не думаем, – громко сказала Елена Евгеньевна и обвела взглядом учительскую. Педсовет одобрительно загудел, женщин, как в каждой школе, было большинство, а мне эта Елена Евгеньевна тотчас показалась особой сварливой и неприятной. Но директора не сбила реплика завуча.

– Четырнадцатого декабря, в день восстания, многие солдаты, раненные в том числе, перешли Неву по льду – от Сенатской площади. Кадетский же корпус был прямо напротив нее, представляете? – Аполлон Аполлинарьевич оживился, глаза его блеснули. – Ну и кадеты спрятали у себя бунтовщиков, оказали им помощь, конечно, накормили. Наутро в корпус сам император приезжает, представляете, и ну генерала чихвостить. И что же – генерал! – на другой день! – после восстания! – говорит разъяренному императору про своих кадетов? «Они так

воспитаны, ваше величество: драться с неприятелем, но после победы призывать раненых, как своих».

Аполлон Аполлинарьевич победительно оглядел учительскую, посмотрел доброжелательно на Елену Евгеньевну, будто пожалел ее слегка, и прибавил:

– Видите, какие славные учителя были до нас с вами, дорогие друзья! Так что нам-то, как говорится, сам бог велел!

Я не выдержала, захопала, как хлопала мы нашим лекторам, когда те бывали в ударе, но на меня уставились как на сумасшедшую, и даже Аполлон Аполлинарьевич, кажется, смутился. Я же расстроилась до слез. Вот ненормальная. Могут подумать, будто я хлопаю потому, что директор меня расхваливал.

А! Пусть думают что хотят!

4

Конечно, я была мокрым щенком. Только мокрый щенок, ничего не смыслящий в жизни и сам попавший в передрагу, способен так увлекаться собой и собственными печальями.

В речах Аполлона Аполлинарьевича я находила утешение от изводивших меня размышлений о маме и ее правоте. И Аполлоша, кажется, чувствовал это, кидая мне спасательный круг своего повышенного внимания.

Но ведь я же еще работала! Была воспитателем первого «Б». Я должна бы с ушами погрузиться в работу, как учили нас в институте! Но что-то не получалось у меня это погружение. Я штудировала методики обучения в начальной школе и ощущала единственное чувство – протеста: ведь меня учили преподавать старшеклассникам. Я готовила уроки со своими малышами, но вместо детей видела одну пачкотню в тетрадках и изнывала от самоедства: какой из меня педагог?

К тому же грозный образ мамы в стеганом халате точно взирал на меня сквозь пространство, отдалявшее от родного дома, взирал с молчаливым осуждением и неумолимой строгостью. Будто она повторяла, радуясь моим неудачам: «Вот видишь!», «Вот видишь!» И я как бы оправдывалась, металась, писала домой каждый день по письму, правда, не признаваясь в своих поражениях, и, честно говоря, втайне ждала повторения маминого приказа: «Ты останешься здесь!»

Но писем из дому не было. Да это ведь и понятно. Кончалась всего лишь первая неделя моей самостоятельной жизни.

Пришла суббота.

Та суббота...

Когда я перебираю прошлое, недавнее свое прошлое, оно представляется то сжатым в гармошку, спрессованным в предельную краткость, то растягивается, и тогда я помню каждый день и даже, пожалуй, каждый час.

Та суббота растянулась в памяти и окрашена в печально-серый цвет, как и все мое школьное начало.

В каждой группе – а группа совпадала с классом – было по два воспитателя с пятичасовой нагрузкой. Моей напарницей оказалась Маша, Марья Степановна, женщина лет тридцати пяти, не окончившая когда-то педучилище по причине рождения первенца. Теперь у Марьи Степановны было уже трое, все учились в этом же интернате в разных классах, так что Маша, добрая, белолицая, рыхлая, как квашня, находилась тут при своих детишках или они при ней – это уж все равно. С группами мы были поочередно – полагалось по пять часов в день, но часто, особенно вначале, когда я плавала на поверхности личных печалей, устраивались так: одна – два часа с утра, а другая – после уроков, с часу до девяти, то есть до отбоя. На другой день наоборот.

В ту субботу утро выпало мне, и к семи я была уже в группе.

Мне сразу послышалось что-то необычное. Подъем начинался в семь, и малыши, не привыкшие к школе, просыпались с трудом, попискивая, даже поплакивая, и воспитателям приходилось их пошевеливать – кто уж как умел.

У меня опыта не было, я включала радио погромче, пела какую-нибудь песню пободрей, а вот Маша – та пошлепывала малышкой по попкам, щекотала тихонечко, а уж с самых «затяжных», как она выражалась, стаскивала одеяло, причем делала все как-то осторожно, по-матерински, приговаривая при этом всегда одно и то же: «Эх ты, макова голова!» – и я ей завидовала, что у нее так хорошо это получается...

В ту субботу комнаты уже гудели голосами и смехом. Я взглянула на часы – до подъема оставалось минут десять, – потрясла рукой, может, остановились, прибавила шагу, но школьные часы повторяли мои: время подъема еще не наступило.

Старшеклассники, видно, бузили, из их комнат слышались хлопки, похожие на выстрелы – сражаются подушками, – но я торопилась к своим.

Это было очень странно: половина мальчиков шустро шныряла по комнате, пристегивая чулки, натягивая рубашки, конечно, все это с криком и грохотом, а другая половина спокойно спала, не замечая шума, точно их не касалась суэта товарищей. Комната девочек тоже поделилась на две половины.

Я разглядывала ребятишек, не зная, что подумать. Уже потом, в конце дня, вспомнив утро, я решила, что походила на неграмотного естествоиспытателя, который разглядывает муравьиную кучу, видит, что муравьишки ведут себя по-разному, так сказать, фиксирует факт, но осознать его не может, ибо ему неизвестны привходящие обстоятельства, короче говоря, он не владеет ситуацией, а уж совсем точней – он неграмотен.

Заговорило радио – школьный узел включил центральную программу, – одетые побежали умываться, а я принялась будить отстававших. Они выглядели почему-то одинаково усталыми, точно невыспавшимися. Но я и тогда ни в чем не разобралась, постепенно сделала все, что полагалось, сводила ребят в столовую дисциплинированно, колонной, и отправила на уроки.

Можно было уходить домой, с уроков малышкой встречала, по нашему распорядку, Маша, но дома меня никто не ждал, никому я не нужна была, и сердце опять сжала тоска и вина перед мамой.

Странное дело, ее тяжелая властность теперь, вдали от дома, начинала казаться добротой, желанием мамы помочь мне, сделать мою жизнь лучше и легче, и я уже забывала, как мама и ее приспешники не разговаривали со мной два месяца, забыв, кажется, что я человек...

Опять раздирала меня душевная сумятица. Чтобы хоть как-то отвлечься, я пошла в комнату, заправила аккуратнее ребячьи постели, взбила подушки, подмела пол.

К двенадцати появилась Маша. Точно не доверяя мне, снова подмела пол, потом пошла вдоль кроватей, загибая пальцы и приговаривая:

– Владик уходит, Семенов уходит, Миша уходит.

– Чего вы считаете, Маша? – спросила я.

– А кто уходит, – мимоходом ответила она.

– Кто уходит? На воскресенье? А разве не все?

– У нас ведь половина детдомовцев, – ответила Маша, не оборачиваясь ко мне. – Им некуда.

Детдомовцев. Это слово кольнуло меня, но я еще ничегошеньки не понимала. Мелькнуло только: значит, на воскресенье надо что-то придумать.

Как следует меня стукнуло чуть позже. К часу за ребятами стали приходиться родные – забирать на воскресенье.

В вестибюль заходили матери и отцы, бабки и подростки, видно, братья и сестры. Малыши разгонялись им навстречу, хлопались в объятия, начинали что-то кричать, подпрыгивать, беспричинно смеяться. Выдачей наших ребят, понятное дело, занималась Маша. Она знала родителей, бабушек, братьев и сестер, а когда не знала, строго, но улыбчиво спрашивала фамилии и только тогда отпускала учеников, которые кричали нам, оборачиваясь в дверях, изо всех сил: «До свидания, Марь Степановна! До свидания, Надеж Георгиевна!»

Маша кивала головой, махала руками, а я не замечала радостных сцен. Я медленно просыпалась.

Я выбиралась из сна, где главными действующими лицами были моя особа и мои страсти.

Я смотрела на школьную лестницу, и что-то потихоньку начинало раскачиваться во мне. Вдоль лестницы, на каждой ступеньке, стояли маленькие люди в серых костюмчиках или

коричневых платяцах, нет, назвать их малышами не поворачивался язык: это были печальные и усталые маленькие люди. Они стояли друг над дружкой, голова над головой, руки по швам, они замерли, точно собрались сфотографироваться – на лестнице фотографироваться удобнее, никто никого не заслоняет, – только вот глаза были не для фотографии: удивленные, печальные, непонимающие глаза.

В школьном фойе возникло нечто несоединимое: те, кто уходил, не замечали лестницу, зато малыши с лестницы жадно внимали всему, что происходило на площадке.

Внизу царил смех, кипела радость, а там, на ступеньках, дрожала обида.

– Маша, – показала я глазами наверх, – это они?

– Каждый раз вот так, – ответила Маша. – Сердце разрывается.

Я смотрела снова и снова, вглядывалась в эти лица и точно начинала прозревать: вот оно, вот оно!

5

Суэта в вестибюле растворилась, интернат опустел, мы были одни во всей школе – Маша, я и двадцать два первыша, переданных нам из дошкольного детского дома.

Маша рассказала мне, и я точно сфотографировала своей памятью не виденное мною: августовский двор, пустая еще школа, притихшие малыши и рядом с ними грудка одинаковых дешевеньких чемоданов темно-малинового цвета.

Ребят привезла директриса детдома, Маша говорила, совсем старуха, сдала Аполлону Аполлинарьевичу документы, расцеловала трижды каждого малыша, а потом настала сцена, которую невозможно вспомнить без слез. Старуха влезла в автобус, которым привезла детей, он затарахтел, а малышня заплакала в один голос и побежала за автобусом, не обращая внимания на Машу, на Аполлона Аполлинарьевича, ни на кого не обращая внимания, и так бежала за автобусом целый квартал, вглядываясь в бледное лицо старухи, пока машина не прибавила ходу. Так что Маша, Аполлон Аполлинарьевич и дядя Ваня, школьный дворник, собирали малышей по всему кварталу, а Маша плакала вместе с ними – от печали и еще от того, что боялась кого-нибудь потерять.

Этот Машин рассказ словно стал продолжением моей памяти. Ни впереди, ни позади у меня не было такого эпизода. Мне казалось: вернись я назад по своей жизни, мне пришлось бы свернуть с дороги, чтобы вновь оказаться в больнице возле мамы, а я должна была следовать прямо, в пыльный август, к автобусу со старухой, который уезжал со школьного двора, к грудке фибровых чемоданов и этим малышам. Меня не покидало чувство, что так или иначе я вынырнула сбоку позже положенного срока, а начинать мне надо было раньше, тогда, в час их приезда. И я должна начать оттуда.

Я не знаю, откуда взялись эти мысли. Не понимаю, почему я почувствовала себя виноватой, ведь моя жизнь до этого городка шла в иной плоскости, в ином пространстве. Но я была виноватой. Точно помню это ощущение.

В конце концов Аполлоша ведь сказал мне про особую группу. Не объяснил, не разжевал, только намекнул, оставляя мне право во всем разобраться самой. Ну и что же? Сама слепая? Да, оказалось, слепая. Я погрязла в собственном писке, вместо того чтобы заняться малышами. Я хваталась за спасательные круги Аполлона Аполлинарьевича, погружаясь в мир его интересных размышлений, лишь бы утешить себя, отвлечь себя... От чего?.. От себя же!

Лестница и кучка малышей, прижавшихся к перилам.

И еще рассказанное Машей.

Устыдившись, я кинулась в это, не вполне сознавая даже, что оно такое. Маши одной не хватало, не могло хватить. И еще я воспитатель. Педагог, наконец, говоря высоким словом.

В те часы я испытывала чувства, какие может испытывать в общем-то, наверное, нормальный человек, по каким-то неуважительным для него причинам оказавшийся простофилей, растяпой, олухом. И хотя из-за этого ротозейства пока еще ничего не случилось, ты без конца дергаешь себя, осознав оплошность, колешь, мучаешь, одним словом. Легче, правда, не становилось, потому что, как ни крути, но растяпой оказалась ты по собственной вине, и требовалось время, чтобы от уколов и толчков постепенно перебраться к мысли, а значит, решениям. Мысли пришли простые. У малышей никого нет, вот что. Им нужен кто-то. Очень близкий нужен. Им нужен дом. Родные люди.

Им нужно то, что им дать невозможно...

Невозможно!

Это слово вызывало озноб, беспомощность, бессилие.

Из озноба швырнуло в жар. А я-то на что? Я же человек. И я с ними.

Меня душила любовь, нежность к этим детям, мне хотелось обнять их, не каждого, не поодиночке, а всех вместе, враз, обнять и прижать к себе.

Но я не умела этого. Как никто не умел.

Слезы застлали глаза.

Маша читала сказку про мертвую царевну, как раз то место, где царевич с ветром говорит, и я судорожно зашептала вместе с ней сызмала любимое, пушкинское:

«Ветер, ветер! Ты могуч,
Ты гоняешь стаи туч,
Ты волнуешь сине море,
Всюду веешь на просторе,
Не боишься никого,
Кроме бога одного.
Аль откажешь мне в ответе?
Не видал ли где на свете
Ты царевны молодой?
Я жених ее». – «Постой, —
Отвечает ветер буйный, —
Там за речкой тихоструйной
Есть высокая гора,
В ней глубокая нора;
В той норе, во тьме печальной,
Гроб качается хрустальный
На цепях между столбов.
Не видать ничьих следов
Вкруг того пустого места;
В том гробу твоя невеста».

Дети слушали внимательно, Маша читала как-то очень хорошо, мягко, по-домашнему, а если спотыкалась, то и это у нее получалось хорошо. Она не отрывалась от книги, не видела, слава богу, моих слез, и я вытерла их тыльной стороной ладони, лишь на минутку прикрыв глаза, как меня кто-то обнял за шею.

Я испуганно повернулась. В меня смотрели два жалостливых черных зрачка.

– Тебе жалко царевну? – прошептал ломкий голосок. Я кивнула, чтобы оправдать свои слезы. – Ничего, – утешила девочка, – она еще оживет.

Я знала только, что девочку зовут Аня Невзорова. И я не выдержала. Я придвинула девочку к себе и уткнулась в ее фартучек. Руками я ощущала худенькую спину девочки, ее острые лопатки.

Я еще собиралась их пожалеть, а они меня уже пожалели.

За что?

А разве жалеют за что-то?

6

Сейчас, много лет спустя, вспоминая ту первую мою субботу, я думаю о себе в третьем лице: она, у нее, с ней... Впрочем, это понятно, я – теперь совсем не я – тогда. И не только потому, что прошли годы, хотя известно, что время и исцеляет и разрушает сразу.

Время изменило меня, я ничуть не лучше других в этом смысле, состарило на десять лет. Но, кроме времени, есть еще одна категория, воздействующая на тебя, может, даже посильнее, чем время. Это образ жизни, отношения к ней, сострадание к другим.

Собственные беды оставляют в душе рубцы и учат человека важным истинам. Это аксиома. Но мне кажется, если человек запоминает только такие уроки, у него заниженная чувствительность. Плакать от собственной боли нетрудно. Трудней плакать от боли чужой.

Существует соображение, что сострадание воспитывается. Действенной всего – собственной бедой. Мне не нравится это соображение. Что же, выходит, гуманизм должен быть непременно выстрадан? Тогда это будет больной гуманизм. Гуманизм, основанный на собственном страдании.

Нет, нет... Я верю, что сострадание – в человеческой природе. Сострадание как талант – дано или не дано. Но чаще дано, потому что это особый талант. Без него трудно оставаться человеком.

У меня, у тогдашней, было просто бабье – верней, девичье – сердце, впрочем, какая разница: бабье сердце или девичье, тут-то все едино. А бабьему сердцу отроду подарена жалость. И я, вооружившись жалостью, кинулась к моим детям, окончательно перестав жалеть себя.

Прозрение обретало у меня энергичные формы. И тут же я попала в забавную ловушку.

Не успела Маша дочитать Пушкина, как я вытолкала ее из интерната с собственными детьми. Она упиралась, конфузилась, говорила, что теперь ее смена, но потом, на минуточку вглядевшись в меня, как-то сразу согласилась. А я принялась лихорадочно действовать. Сначала мы пошли в кино, название и содержание которого я так и не узнала, хотя ребята были счастливы, затем водили хоровод, вырезали из бумаги цветы (девочки) и самолеты (мальчики), приняли решение, что будем все вместе собирать марки, и долго спорили, на какую тему (решили – космос), сходили все вместе, очень организованно, взявшись за руки, построившись парами, в ближайший киоск, купили там за десять рублей – повезло! – громадный альбом и два пакета с космическими марками, играли в жмурки, прыгали через скакалку в спортзале, снова играли – в серсо – в игровом зале, смотрели телевизор. Все это в один день и в каком-то неестественно лихорадочном темпе, так что у меня даже мелькнула на мгновение трезвая мыслишка: надолго ли тебя хватит?

Во время ужина меня позвали к телефону. Звонила Маша.

– Надя, я забыла сказать, сегодня суббота, их надо купать, и белье надо сменить!

Я бодро пообещала все сделать, а когда положила трубку, спохватилась: ладно, с девочками я справлюсь, а как мальчишки? Ведь они, с одной стороны, еще малыши и сами как следуют не промоются, а с другой – мальчишки и вряд ли дадутся в руки, да и я, пожалуй, не готова к такому повороту событий.

Чему нас только не учили в педагогическом! Логика, психология, философия! А вот как помыть первоклашек в интернате – давай сама, без рецептов.

Я вернулась в столовую. Намаевшись за день, моя рота позвякивала в тишине ложками. Повариха Яковлевна в белом крахмальном колпаке, похожем на трубу океанского теплохода, облокотясь сидела у края стола. Зовут Яковлевну по-старушечьи – одним отчеством, но женщина она моложавая, хотя и немолодая, наверное, лакированные жарой румяные щеки убавляют ей лет. Я присела рядом доесть свой ужин, Яковлевна покосилась на меня и вздохнула.

– Куда же такую молодайку к малым детям суют, – проговорила она ворчливо и негромко.

Я не ответила.

– Им бы мать нужна, – тем же тоном сказала Яковлевна, – рожалая да бывалая.

– Уж какая есть, – ответила я беззлобно. Когда, вернувшись к ребятам, я увидела повара за столом, у меня мелькнула мысль посоветоваться с ней, спросить, что ли, как быть с мытьем мальчишек. Теперь спрашивать расхотелось. Никакой обиды я не испытывала, ничего обидного Яковлевна не сказала, да и не до обид было, но после этой ее реплики решила сама все сделать, без всяких советов. Уж как получится.

После ужина собрались в игровой, и я объявила, что сейчас будет баня, сначала пойдут девочки, а потом мальчики.

– Сами? – спросила Анечка Невзорова.

– Со мной! – ответила я, и Анечка захлопала в ладоши, а мальчишки заволновались. Прокатился сдержанный ропоток. Спроси меня мальчики, как будут мыться они, я бы не ответила, но они, верно, растерялись, а я прогнала нерешенную задачку: сначала девочки, а дальше видно будет.

С девочками мне было легко. Попискивая, повизгивая, порхая, напевая, стайка пестреных бабочек со сменами белья под мышкой летела вокруг меня вниз, в душевую.

В предбаннике ярко горел свет, и я на мгновение замешкалась. Как же быть, в каком виде, елки-палки? Все-таки они мои воспитанницы, а я их воспитатель. Принято ли, бывает ли так?

На секундочку я растерялась и выпустила инициативу из рук, всего на мгновение, а вокруг моего шкафчика уже толпилось одиннадцать голеньких девчонок. О мои боги, Ушинский, Крупская, Сухомлинский? Что делать? Про себя чертыхнувшись, я вышвырнула из головы всякие науки, расстегнула бретельки, сняла трусики, крикнула командирским голосом:

– За мной!

Я включила все десять душ, наладила нужную воду, объяснила, что каждая моется самостоятельно, а я буду намыливать голову и прохаживаться мочалкой окончательно, но не тут-то было. Все одиннадцать толкались рядом со мной, прижимались ко мне, я чувствовала худенькие тельца малышей, и визг стоял совершенно невообразимый.

Мои попытки организовать дело оказались совершенно пустыми. Тогда я махнула рукой, схватила губку, мыло и принялась драить первую же попавшуюся.

Технология постепенно налаживалась.

– Алла? – спрашивала я, схватив малышку.

– Алла! – соглашалась она.

– Ощепкова? – спрашивала я, чтобы хоть как-то остановить ее беспорядочную суетливость.

– Ощепкова! – кивала Алла.

– Ну-ка расскажи мне про себя!

– А чего рассказывать-то?

– Что ты любишь? Что не любишь? Какие видела фильмы? Чего хочешь?

И пока рыженькая Алла Ощепкова излагала мне свою программу – что поделаешь, действительно целая философия: любит кататься на трамвае, клубничное варенье, артиста Евгения Леонова и одеколон «Красная Москва», – я мылила ей волосы, охаживала мочалкой спину, живот, ноги и драила пятки, чего Алла снести уже не могла, раздражаясь диким хохотом.

Далее следовал завершающий шлепок, Алла мчалась вытираться, предупрежденная, что вытереться надо непременно насухо, а ее место уже занимала следующая.

– Зина? – спрашивала я.

– Зина!

– Пермякова?

– Пермякова!

– Запевай!

Смешная Зина Пермякова, шербатая, как старуха – сразу трех передних зубов нет, – улыбаясь и шурясь, хитро поглядела на меня снизу и вдруг затянула:

– Очи черные, очи страстные, очи жгучие и прекрасные!

Наверное, я поперхнулась и глаза у меня округлились. Но ни Зина, ни остальные девчонки ничего не заметили. Теперь уже хором, нестройным, правда, неспевшимся, выводили они слова романса, написанного явно не для младшего школьного возраста:

– Как люблю я вас, как боюсь я вас, знать, увидел вас я не в добрый час!

– Откуда вы знаете? – воскликнула я поражено.

– Наталья Ванна! Наталья Ванна! – закричали девчонки наперебой. После расспросов с пристрастием выяснилось, что Наталья Ванной зовут ту старуху – директора детдома – и что Наталья Ванна любит играть на гитаре и петь эту песню, как выразилась Зина Пермякова, но поет ее дома, а окна открыты, и все эти клопы разучили любимый романс Натальи Ванны.

Вот так да! Сколько же мне предстоит! Разобраться в каждом их слове! Но теперь разбираться не было времени! Из душа хлестала вода, к потолку поднимался пар, и мытье, похожее на утренник, выходило веселым и, по-моему, качественным.

Сначала приходилось трудно: девчонки, не понимая этого, мешали мне своим многолюдьем, но постепенно отмытые удалялись, пока не осталась Анечка.

Я терла ее, как и всех, войдя в веселый ритм бани, и не обратила внимания, что Анечка исподлобья взглядывает на меня. Когда я шлепнула ее, завершив процедуру, она не ушла.

– Ты чего? – удивилась я.

Анины глаза пристально рассматривали меня сквозь блестящие струи.

– Какая вы красивая! – сказала она. Я смутилась под ее взглядом.

– Мы же с тобой на «ты», – проговорила я, пытаюсь переменить тему.

– Неужели и я такой буду? – воскликнула Аня и – о боже! – смело прикоснулась к моей груди. Меня точно облили керосином и подожгли. Что я должна сказать? Закричать? Но ведь это она, Аня, пожалела меня днем. Как же я должна отвечать ей на каждое слово?

– Конечно, будешь! – сказала я серьезно, слыша свой голос точно сквозь вату. – Куда же ты денешься?

Я еще перебирала ответы решенной задачи, а моя Анечка была далеко от нее и снова толкнула меня в тупик.

– А как же ты мальчишек мыть будешь? Так же? – И кивнула на меня.

Отложенное чаще всего возвращается в самый неподходящий момент, и я снова покраснела от Аниного вопроса. Ну снайпер! В десятку да в десятку!

– А ты как думаешь? – спросила я, растерявшись.

– У тебя же лифчик темненький, – вразумила меня Анечка, – и трусики тоже. Ты их и надень, а потом просушим.

– Анечка! Золотко! Да какая же ты умница! – Стыд перед девочкой, страх опростоволодиться исчезли от Аниной неожиданной помощи, будто точный совет подала любимая подруга.

Анечка рассмеялась, я вышла в предбанник, протерла тех, кто был сыроват, расчесала девочкам волосы, но косы заплетать, несмотря на писк, решительно отказалась.

– Будьте сознательными! – сказала я. – Мне же еще мальчишек мыть! Кто уже готов? Зовите их сюда!

Две или три девчонки выскочили, но остальные не шевелились. Стояли вокруг меня, уже одетые и расчесанные, но не выходили.

Я поняла. Улыбнулась им открыто и весело. Зачем-то вытерлась, хотя снова под воду, надела черные трусики и лифчик, слава богу, мамино шитья, из плотной ткани. Аня привередливо осмотрела меня и помотала головой.

– Волосы причеши. Чтоб прилично.

Я послушно достала гребешок, расчесала волосы и наскоро заплела косу.

– Ой! Ты теперь совсем девочка! – проговорила умиленно Анечка и побежала к выходу. За ней сорвалась смеющаяся орава, уступив свое место толпе понурой и молчаливой.

Первое, что я услышала, чуть не свалило меня от смеха.

– Раздевать будете?

– А разве моются в одежде?

Это несколько разрядило обстановку. Прокатился смешок.

– Мы будем в трусах, – проговорил тот же упорный голос. Еще час назад – да какой час, пятнадцать минут! – я бы не знала, как выбраться из такой ситуации, но опыт приходит быстро, надо только захотеть.

– Что ж, я согласна, – ответила я весело и уверенно. – Условие одно: голову, тело до пояса и ноги я мылю сама, а уж остальное – на вашу совесть – под крайним душем. Я не смотрю. Идет?

– Идет! – заорала, разом развеселившись, мальчишечья команда.

Я глянула в зеркало. Надо же! Почти в спортивном виде стоит боком ко мне опытная воспитательница, специалистка по банному вопросу в первом классе интерната.

Ну и дела!

7

Суббота закончилась моим конфузом.

Представьте себе: девчачья спальня, на кроватях, в нарушение всяких правил, сидят мои птенцы, душ по пять, через комнату тянется веревочка, на ней сушатся мои трусики и лифчик, а я, с распущенными по плечам волосами – нимфа, да и только! – сижу на стуле и читаю детям сказку Пушкина о золотой рыбке, и вдруг на пороге возникает Аполлон Аполлинарьевич.

Дети мои, конечно, вежливо здороваются, но ничегошеньки не понимают, а я хватаю ртом воздух, точно рыбка, выброшенная на песок, правда, судя по всему, далеко не золотая. Аполлон Аполлинарьевич тоже, похоже, хватается ртом воздух, таращась на веревочку, пока я не догадываюсь сорвать с нее черные флажки.

Дверь закрывается, я полыхаю огнем, малыши в один голос требуют продолжения сказки, я читаю, сначала не слыша себя, затем успокоившись, а потом начинаю хохотать, просто покачиваюсь, поглядывая на веревочку с черными флажками, и малыши покачиваются тоже, но, я думаю, все-таки тема у них другая – жадная старуха из сказки Пушкина.

Желания идти домой у меня нет, я укладываю малышек спать и сама ложусь на свободную кровать в девчоночьей комнате.

Анализировать действительность, переваривать впечатления и просто соображать у меня нет сил, и я сразу проваливаюсь в сон. Но новая жизнь не согласна с этим. Я вздрагиваю от испуга, готова вскочить, даже закричать – кто-то лезет ко мне под одеяло, – но вовремя сдерживаю себя.

– Хочу с тобой, – шепчет знакомый ломкий голосок.

Это против всяких правил, да и вообще ни разу в своей жизни не спала я ни с кем в одной постели – ни с мамой, ни с сестрой, а вот Анечке безвольно уступаю, думаю лениво: «Хороша воспитательница» – и кладу ей свою руку на грудь.

Последнее, что ощущаю: гулкие удары сердца под моей ладонью...

За завтраком вновь возникает Аполлон Аполлинарьевич. На этот раз директор приближается как-то нерешительно, присаживается напротив меня, глянцевощекая Яковлевна услужливо подносит ему порцию отварной рыбы для пробы, и, рассеянно тыча в нее вилкой, директор осторожно упрекает меня:

– Я слышал: вы вчера перемыли ребятишек, напрасно, для этого есть нянечки.

Я молчу, и Аполлон Аполлинарьевич как бы спохватывается. Голос у него по-прежнему уверенный, от чего-то меня отвлекающий.

– А я вам Лескова вчера принес. Признайтесь, Надежда Победоносная, ведь не читали!

– Не читала! – смеюсь я, радуясь, что он отступился от скользкой темы, кто чего должен и не должен. В конце концов, он директор и имеет право приказать, а я обязана подчиняться. Впрочем, педагогика выше приказов, это одно из ее преимуществ. За это я и почитаю свою профессию. Здесь надо сердцем. Это внушали нам в институте. Педагогика – форма творчества. Только вот сердцем-то выходит не у каждого – тут уж кому что дано. Тогда как с творчеством? Так что приказ в школе – обстоятельство щекотливое, творческому решению, пусть непривычному, может повредить, а бесталанному – помочь.

Но, признаюсь, это выводы других, поздних времен. Тогда же я сказала директору, что хочу зайти к нему.

Я хотела прояснить свою цель – посмотреть личные дела детей, но Аполлоша не дал мне договорить:

– И немедленно. Я должен объясниться.

Поначалу объяснение показалось забавным. Но только поначалу:

– Крепко обиделись? – спросил меня Аполлон Аполлинарьевич.

– За что? – искренне удивилась я.

– Толком не сказал о классе. А знаете почему? Думал, вы испугаетесь и...

– И?

– Сбежите.

Вот какое я произвожу впечатление! Наверное, эту мысль отчетливо выражало мое лицо. Аполлоша смутился. И совершенно напрасно. Я была уже способна критически оценить начало моей педагогической практики. Что ж, мокрый щенок, думающий только о себе, мог и сбежать.

– Спасибо за откровенность, – ничуть не обижаясь, кивнула я, и на Аполлошу, кажется, это произвело обратное впечатление. Лицо его покраснело, на лбу выступила испарина: ждал, наверное, упреков, того хуже, слез, а тут...

– Как гора с плеч, – пробормотал он смущенно и тут же воскликнул, приходя в свое обычное состояние: – А вы не такая! Теперь вижу!

В другую пору я бы маялась, примеряя к себе этот разговор и так и этак, но тут точно и не заметила: жизнь делала свое дело, теперь меня волновали дети.

– Не знаю, с какого края подступиться, – призналась я Аполлоше.

Он вздохнул.

– Когда нам дали этих детей, – сказал Аполлон Аполлинарьевич, – я, сказать откровенно, растерялся. Специфика интернатская, все как будто понятно, отлажено. Среди наших родителей народ разный, есть такие, что весь недельный труд школы уничтожают за полтора выходных дня. Но все-таки родители, все-таки есть, а тут все другое. Но деваться некуда. Каждый год облоно дает одному интернату такую группу. По очереди. Теперь настала наша. И надо работать, на то мы и учителя, что нас не спрашивают, каких детей мы хотим воспитывать, а каких не хотим. Дети все равны.

Он опять вздохнул, печально посмотрел на меня. Нет, Аполлоша явно не походил на себя сегодня. Просто другой человек. Усталый и замученный. Мнет руками круглую голову, точно мяч, и места себе не находит. Директор как будто услышал мои соображения.

– Я мучаюсь, – поднял он на меня глаза, – оттого, что веду себя непоследовательно, точнее, неверно. Всякий риск и эксперимент здесь опасен, и вначале я решил дать этой группе самых сильных воспитателей. Мария Степановна – одна из них, хотя у нее трое собственных детей. Впрочем, именно потому, что у нее трое детей. А еще – опыт и материнская доброта. Другого... – он осекся. – Маша вам ничего не говорила?

Я пожала плечами.

– Молодец. Истинный педагог. До вас одна уже не выдержала. Из наших. Разочаровался в человеке, казалось бы, весьма симпатичном.

Вот как! Значит, до меня уже кто-то был. Это новость!

– Я с вами предельно откровенен. – Аполлоша поднялся из-за стола, прошелся медленно по кабинету, не глядя на меня. – Может, эта откровенность обидна. Но послушайте до конца. Я все-таки учитываю, что вы тоже можете уйти. Работа вам предоставлена не по специальности – это козырь. Что меня подкупило? Что вы согласились идти воспитателем. На что надеялся? Что учитель в роли воспитателя может дать много. И уж совсем откровенно: не хотелось больше экспериментировать на старых кадрах. Разочаровываться больно. А вы если уйдете, то, надеюсь, совсем.

Первый раз за весь разговор он поднял на меня глаза.

– А малыши? Как с ними? – спросила я будто невпопад, но Аполлоша неожиданно засиял.

– В том-то и дело! – воскликнул он, чему-то радуясь.

Я молчала, разглядывая его с интересом, он тоже молчал и тоже глядел на меня с любопытством.

– Слабовата надежда, понимаю, и вы рискуете, – сказала я, – но все-таки давайте посмотреть личные дела.

- Надеюсь на Надежду, – заулыбался он. Но теперь строгая стала я.
- Это уже известно. Еще с педсовета.

Но он как будто не услышал обиды в моих словах. Напротив, снова вздохнул облегченно, протягивая ключ от шкафа.

Личные дела моих малышей оказались тонкими картонными корочками с несколькими бумажками, но какими бумажками! Кроме характеристики из дошкольного детского дома, свидетельства о рождении в обыкновенном почтовом конверте без марки и фотографии, сделанной любовно, в коричневом тоне – на снимках малыши выглядели маленькими киноактерами, – в папочках хранились копии документов о смерти родителей, постановления судов о лишении родительских прав, решения райисполкомов об отправке в детский дом...

Утром я решила весь день провести с ребятами, снова освободив Машу, но обещания не сдержала, а просидела над горкой тонких папочек до самого ужина, исписав целую тетрадь.

Я приходила к осознанию истины, точно разделявала капустный кочан – сперва обрывала большие листья, постепенно приближалась к плотному ядру, видела, как все туже и туже сплетено кочанное нутро. Каждая строка в коротенькой характеристике из детдома, прекрасно не соответствующей сухим стандартам, вопила о жизни, стонала о беде, требовала помощи, взывала к любви. Каждая строчка свивалась в тугой виток забот и проблем, имеющих конкретное отношение к коротенькой пока человеческой судьбе. Трагедия шагала по тонким корочкам, оглушая даже взрослую душу своей жесткой походкой.

Мне показалось тогда, да и сейчас кажется: за те часы я прожила несколько жизней. Точно вся моя предыдущая судьба с ее маленькими, ничтожными бедками, все мои двадцать два года превратились в одну-единственную жалкую минутку, довольно пустынькую, во всяком случае, беспечальную, а подлинная моя жизнь начиналась вот отсюда, с этой черты, с нескольких часов, когда я святым правом своей профессии стала владеть тайнами и бедами, о которых даже их хозяева не всегда знали.

Характеристики походили на письма. Написанные от руки и подписанные одинаково – «Мартынова», – они почти всегда заканчивались обращением:

«Будущих педагогов Зинаиды Пермяковой просим обратить внимание на неустойчивость ее характера, склонность подвергаться влияниям – как хорошим, так и плохим, несамостоятельность в решениях и поступках».

«Аню Невзорову желательно загружать всевозможными поручениями и делами, не давая ей оставаться наедине, так как замечено, что в одиночестве Аня немедленно вспоминает свое прошлое, оставившее в ней сильный след, и тотчас сторонится взрослых».

«Миша Тузиков очень тоскует по родителям, поэтому при возникновении такой возможности мы рекомендуем его усыновление, однако непременно с сестрой, Зоей Тузиковой, которая очень любит брата».

Я представляла себе старуху директрису: наверное, Мартынова – это она, незнакомая мне Наталья Ивановна, – как сидит перед настольной лампой, непременно зеленой, старинной, обмакивает перо в чернильницу: она не могла писать характеристики авторучкой – это было видно по нажимам и волосатым старинным линиям – так выводили буквы когда-то, наверное, на уроках чистописания, – обдумывая каждую строчку, а потом заноса ее на лист бумаги, как выношенную и выстраданную мысль, а не просто нужную фразу.

Да, выношенную и выстраданную – эти просьбы к будущим педагогам ее воспитанников не могли быть не выстраданы, потому что им предшествовали сведения, холодившие душу.

«Миша Тузиков вместе с сестрой Зоей Тузиковой (близнецы) переданы в детдом по решению административных органов. Родители их – Николай Иванович Тузиков, инженер, и Александра Сергеевна Тузикова, научный работник, погибли во время автомобильной катастрофы (копия свидетельства о смерти родителей прилагается). Единственная родственница родителей – Тузикова Н. С., 85 лет, находится в доме престарелых».

«Мать Ани Невзоровой – Невзорова Любовь Петровна – решением народного суда за безнравственное поведение лишена родительских прав (копия постановления суда прилагается). Отец неизвестен. Мать совершала неоднократные попытки общения с дочерью».

«Год, месяц, день и место рождения Зины Пермяковой соответствуют действительным датам, а имя, отчество и фамилия определены коллективом Дома ребенка. Имя девочке дано в честь Героя Советского Союза Зинаиды Портновой, отчество – Ивановна – произвольно, фамилия в честь Перми, города, где она передана из роддома в Дом ребенка (расписка матери в отказе от материнства прилагается)».

С каким-то непостижимым, суеверным страхом я разглядывала эту расписку. Я, такая-то Галина Ивановна, паспорт номер такой-то, год рождения такой-то, место рождения такое-то, подтверждаю настоящим, что добровольно отказываюсь от своей дочери. Имя отца сообщить отказываюсь. Обязуюсь никогда и ни при каких обстоятельствах не требовать родительских прав. Против перемены имени и фамилии дочери не возражаю.

И неразборчивая закорючка вместо подписи. Так расписываются в ведомости на зарплату. Или где-нибудь в книге заказных писем.

Моя биография не готовила меня к таким обстоятельствам. Я, дитя благополучия, и вообразить себе подобного не могла. В этих тоненьких папках я открывала новые, неведомые мне аббревиатуры, сокращения, каких не встретишь ни в едином филологическом справочнике: ЛРП – лишение родительских прав, МЛС – места лишения свободы.

В кабинете директора висела вязкая тишина, только настенные электрочасы громко стучали стрелкой, отсчитывая минуты, а вокруг меня теснились лица малышей, которые еще вчера были такими одинаковыми. Точно я заново узнавала их. Дети автомобильных катастроф и даже землетрясений, но чаще всего – человеческих ошибок и взрослой слабости, это были особенные дети. Лишенные родительской ласки, они даже не знали, что она бывает. Человек может и не подозревать о счастье, если он не испытал. А если испытал?

Вот я испытала. Несмотря на мамин характер, я люблю ее и не могу не любить, я знаю, что такое дом, уют, близость родного человека. Я знаю. А они не знают.

Конечно, придет время, они вырастут, и к ним придет их собственное счастье. Но с каким опозданием! А разве счастье имеет право опаздывать к людям?

Значит, я должна им помочь, не так ли? Я, знающая, что такое счастье.

Только как?

Как помочь Лене Берестову, сероглазому крепышу, весельчаку и неунываке, отец которого спился после смерти жены и забыл не только про сына, но и про себя?

А Женечке Андроновой? Севе Агапову? Косте Морозову? Лене Савичу? Малышам, чьи имена то подлинны, то выдуманы педсоветами, чтобы оберечь ребят от продолжения материнских ошибок?

Я стояла у окна, глядя на улицу, и не видела ее.

Толстой сказал, что все счастливые семьи счастливы одинаково, а каждая несчастливая несчастна по-своему. И я, взрослый человек, только теперь начинала понимать эту фразу.

У каждого моего птенца было свое несчастье. А я, счастливый человек, не знала, не думала о них. Человек безмятежной судьбы знает, конечно, о бедах, о том, что есть несчастные, а среди них и дети. Но жизнь устроена так, что несчастье счастливому кажется чаще всего далеким, порой даже нереальным. Если у тебя все хорошо, беда представляется рассыпанной по миру маленькими песчинками, несчастье кажется нетипичным, а типичным – счастье. Да, когда человек счастлив, ум как бы теряет осторожность, дремлет. Знание уступает место чувству, и, наверное, это справедливо. Счастье не будет счастьем, если оно каждый миг станет думать о беде и горе. Но правда трезвее благополучия. Пока есть жизнь, будет и беда. Будут аварии и землетрясения, будет смерть, она неизбежна, и будет, наверно, человеческая подлость

– что-то не исчезает она никак. Да, несчастья – это неизбежность, но если все несчастья собрать вместе, как здесь, в интернате? Что же получится? Груды беды? Темный день? Мрак?

Что ж, выходит, так. И нет другого выхода, как развеять этот мрак, когда речь идет о маленьких людях. И еще: защитить от тяжелого легче, когда те, кого надо защищать, вместе.

А темный день... Главное, чтобы он не повторился у них, вот что. Темный день, беда, собранная в тучу, предназначена только для сердца учителя. Дети должны жить. Растить, радоваться. Слава богу, они плохо помнят свою беду. Многие и не знают о ней.

Что же касается меня... Я должна содрогнуться от этой беды. Я должна носить ее в сердце, что подделаешь, оно дано человеку не только для счастливых нош. Но я не имею права жить одним прошлым этих ребят. Только их тяжестью.

Мне поручили их осчастливить.

Легко сказать...

8

К вечеру в интернат заявила Лепестинья. Увидев меня, ухватила за локоть и зашептала жарко в ухо:

– Ты чо, девка, сдурела, я ведь извелась вся, думала, не найду в школе, позвоню милиции.

– Что ты! – Мы с ней по-родственному, на «ты».

– Чо, чо, как я перед матерью твоей отвечать стану, а? Вон на карточке-то строгушая какая!

Вот какое откровение! Я рассмеялась, повела Лепестинью в игровую: пусть посмотрит, какая у меня работа, и не горячится впредь – ночевать я здесь не раз еще буду.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.